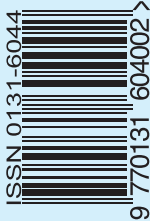


18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН №18 2020 ГАЗЕТА

*Геннадий Карпунин / Птицы вольные*





## КАРПУНИН Геннадий Михайлович

Родился в 1958 году в посёлке Щербинка Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Работал журналистом, печатал прозу в журналах «Москва», «Наш современник» и других. Автор четырёх сборников стихов, нескольких книг повестей и рассказов, романа «Часовых дел мастер». Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

# 75 Год памяти и славы Великой лет ПОБЕДЫ



Михаил Васильевич  
ШЕШТЕРИКОВ  
(1906–1974)

### И ВСПЫХНЕТ В ПАМЯТИ НАШ ТРЕТИЙ ВЗВОД...

\* \* \*

Только руку к столу протяну,  
Только в строчки свои загляну —  
И колеса стучат без отдышки.  
Вновь увозят меня на войну  
Записные военные книжки...  
Я иду по войне — и встает  
Обожженное болью былое:  
День и ночь на пределе народ,  
Третий год не выходит из боя.  
И болит мое сердце опять:  
Перед боем могилы копают,  
Чтоб потом зарывать, зарывать...  
А убитые всё прибывают.  
Постояли они, как могли,  
Смерть им в сердце железом плеснула,  
И рядами в могилу легли  
У мадьярского хутора Дьюла.  
Но недолго осталось врагу  
До конца, а боям — до отбоя...  
На далеком чужом берегу  
Мы черту подвели под войною.  
Вот и в книжке она под строкой...

Тишина на дунайском пригорке.  
Я лежу на траве.  
Надо мной  
Ствол остывшей  
Т-тридцатьчетверки.  
Люк открыт.  
Спать танкисты легли.  
Про войну и про мир позабыли...  
И не видят из вешней дали,  
Сколько бед от земли ответили  
И Гагарина грудью закрыли.  
В дымке лет утонула война,  
Заросли блиндажи и могилы.  
Лишь в блокноте все та же она,  
Та же боль,  
Та же кровь — все как было!

\* \* \*

Выветривает время имена,  
Стирает даты, яркие когда-то,  
Историей становится война,  
Уходим в книги мы, ее солдаты.  
Все взвесила учена рука,  
Живых примет от нас осталось мало.  
Мы в книжках просто-напросто войска  
Таких-то и таких-то генералов.  
Нам не везут ни курево, ни щи,  
Ни шапки, ни обмотки, ни патроны.  
Да и зачем?

Мы в книгах лишь клещи,  
Лишь клинья, лишь пунктиры обороны.  
И трудно мне, и одиноко мне  
На тихой, подытоженной войне —  
На схемах и листах ее добротных  
Искать свою  
Среди частей пехотных.  
Бредешь-бредешь — и вдруг тебе  
мелькнет  
Знакомая речушка иль высотка,  
И вспыхнет в памяти наш третий взвод  
И рыжий чуб сержанта-одногодка.  
И закипят на сердце имена,  
И загрохочут, и застонут даты...  
Историей становится война,  
Уходим в книги мы, ее солдаты.

\* \* \*

Ветер солнечный, ветер вешний  
Снова душу тревожит мне.  
И скворец свистит над скворечней  
О далекой моей весне.  
Если б вновь я в нее вернулся —  
Вдруг проснулся бы молодой, —  
Я, наверно бы, захлебнулся  
Юной радостью, как водой.  
Я помчался бы бездорожно —  
Пашней, лугом, через ручей —  
К самой первой, самой тревожной,  
К самой робкой любви моей.  
А она бы опять стояла  
Глупой, тоненькой, молодой,  
Тем же самым платком махала,  
Что потом унесло водой.  
Я б к устам ее прикоснулся,  
Что мои полонили сны,  
И от счастья бы захлебнулся,  
Задохнулся бы от весны,  
От любви, вновь воскресшей, светлой,  
Что давно была и прошла...  
А была она с солнцем, с ветром  
И с полынней бедой была.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2020

Все права защищены

Журнал зарегистрирован

в Министерстве связи

и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2020 №18 /1863/ Основана в 1927 г.

Геннадий Карпунин

## ПТИЦЫ ВОЛЬНЫЕ

Повести и рассказы

### Прощеное воскресенье

Повесть

1

В прошлом году, когда Борис Андреевич Болтников, замдиректора крупного столичного НИИ, появился на конференции в московском Доме ученых с миловидной девушкой, непринужденно, с некоторой нарочитой фамильярностью подхватившей его под руку, даже те, кто предпочел бы не обращать внимания, даже они, эти третьи корифеи науки, с плохо скрываемым любопытством поддались столь пикантной уловке.

Ирина, конечно, не очень разумно вела себя тогда; он не раз ее одергивал, но ей, вопреки всякой этике, импонировала роль эдакой салонной львицы, — хотелось пощекотать нервы этим ученым тузам. По обыкновению анемичное лицо Болтникова в тот день отличалось несвойственным ему румянцем.

— Они же меня за твою мабишь принимают, пап. Или нет — за гран-коккет.

— Не говори глупостей.

— Правда-правда.

— Что «правда»?.. — напрасно горячился он. — Ты хотела собрать интересный материал для статьи, поупражняться во французском, так веди себя достойно, без жеманства...

Впрочем, он и сам заметил ухмылки некоторых коллег, а потому поторопился представить дочь окружающим.

Бывая с Ириной в театре, на выставках, просто на улице, он иногда ловил на себе взгляды с пошленькой подоплекой. Дочь в такие минуты нарочно начинала кокетничать, играть на публику, заводя показушную любовную интрижку: то намеренно громко называла его по имени-отчеству, то, предпочитая легкий флирт, жалась к нему точно кутенок.

— Тебе в театральное надо было поступать, а не на журналистику, — говорил он.

— Не мое амплуа, папа, — парировала она. — Там нужно притворяться, или, как это у них, — перевоплощаться. Это требует большого таланта. А его у меня нет.

— Я склонен к обратному.

— Намек на мою игру с ними, — небрежно кивала в «их» сторону. — Так знай же: я — сама естественность, простота, а игру ведут вот они. Загляни в их глаза. Что ты там видишь?

Болтников еще больше смущался и смотрел совсем в противоположную сторону.

— Молчишь. Лично я вижу потрясающие картины, одна другой экстравагантнее. В их больном ображении я не иначе как столичная вакханка, из меркантильных побуждений вступившая в связь с мужчиной, который намного старше меня. Хотя, возможно, порядочным. И... семейным. Как ты полагаешь? Или я не права? Может, *jeune premiere*?

— Мне кажется, ты говоришь пошлости.

— Прости, папа, но ты совершенно не знаешь себе цены. Сколько тебе лет?.. Согласись, у тебя бальзаковский возраст. Для мужчины это расцвет. Ты хоть раз трезво взглянул на себя в зеркало? Один твой лоб чего стоит! А твои выдающие глубокий ум залысины! Твоя благородная седина и галантность! А бледность, эта гамлетовская бледность, и осанка. Неподражаемо! Говорю тебе как женщина: не будь я твоей дочерью, я бы тебя окрутила.

Болтников временами терялся, не понимал, говорит ли дочь серьезно или шутит, но отдавал должное ее уму, редкой для ее возраста проницательности, тонкой, подчас оправданной иронии.

Иру было трудно чем-либо удивить. Казалось, она ко всему и всегда была готова, в запасе у нее всегда и на все находился нужный ответ. Ни Вера, бывшая его жена, ни он сам не обладали способностью к сравнительно быстрой оценке какой бы то ни было сложной ситуации. В этом дочь их превосходила.

И все же сегодня вечером, в пятницу, спустя несколько месяцев после дня рождения дочери, он, наконец, удивил Ирину, заехав, чтобы на пару недель забрать ее в тихий и уютный пансионат.

— В самый разгар семестра, — удивилась Ирина неожиданному предложению.

— В самый бархатный сезон, — нашёлся он.

Вера Михайловна тоже с недоумением поглядывала на Болтникова.

— Почему такая необходимость, спешка? Почему не зимой, после Ирочкиной сессии? Хотя бы звонком предупредил.

Несомненно, она чувствовала за собой вину: в день рождения дочери сорвалась. И если бы не тот скандал, спровоцированный в общем-то самой Верой Михайловной, возможно, сейчас между ними был бы более резкий диалог. Хотя с некоторых пор Борис Андреевич перестал заострять внимание на подобных выпадах бывшей жены. К тому же Вера в данной ситуации была полностью права: он не давал о себе знать почти восемь месяцев. Даже не звонил, придерживаясь твёрдого правила: звонить в исключительных случаях. Ирина сама в любое время могла связаться с ним по телефону. Или же, имея ключи, приехать к нему на квартиру.

Правда, несколько раз Болтников все же звонил, но, как нарочно, трубку брала Вера Михайловна; разговор получался натянутым и сводился, в сущности, к дежурным фразам. Да и что он мог объяснить, тем более по телефону, давно уже чужому человеку? Но если б даже сама Ирина взяла трубку, он и ей не смог бы объяснить, что идея съездить на пару недель

в пансионат — отнюдь не простая его прихоть. Это было связано с обстоятельствами, о которых Болтников меньше всего старался сейчас думать. Тем более обсуждать их с дочерью.

Как восприняла его продолжительное отсутствие Ирина? На это он уже получил вполне определенный ответ, обнаружив недавно в почтовом ящике брошенные туда дочерью ключи от его квартиры. Может быть, все-таки сказать правду? Нет. Во всяком случае, не теперь.

— Едем, Ира, — тревожно смотрел он на дочь, боясь ее отказа. — Деканат я беру на себя. Ручаюсь, скучать тебе не дам. Соглашайся.

Как он ее просил! Откажи она ему сейчас, он пошел бы на любой обман, он выкрал бы ее, под любым предлогом заманил бы в машину и увез.

Дочь явно терялась. Вера Михайловна настороженно поглядывала на обоих. Болтников хорошо знал этот ее взгляд. Но он неплохо знал Ирину: она и только она вправе теперь самостоятельно делать выбор. И может ли он сердиться на Веру? Она — мать.

После развода с женой и очередного ее замужества у них установились отношения, которым он дал четкую лапидарную формулировку: никаких. Муж Веры при появлении Бориса Андреевича старался не выходить из комнаты. Это устраивало обоих мужчин. Благо, они не испытывали друг к другу ни симпатий, ни вражды — абсолютная индифферентность. Но Болтников никогда не забывал купить что-нибудь для его тринадцатилетнего сына, брата Ирины. «Олежек», — ласково называл его Болтников. В последний свой приезд, как раз в день рождения дочери, он привез ему из Японии детскую компьютерную игру, а Ирине — диктофон. Именно в тот вечер Вера устроила скандал, вернув Болтникову его подарки. Они и сейчас пылятся у него дома на письменном столе.

Борис Андреевич до сих пор не мог понять, что вызвало тогда у Веры такую агрессивность. Может, случайно оброненные слова по поводу ее сына? Но ведь такой же Олежек мог быть и у них. Мысль об этом иногда посещала его, хотя он давно свыкся с тем, что, кроме дочери, у него теперь никогда и никого не будет.

— Так как же, Ира, едем? Обещаю, скучать там не будешь.

— Не знаю, — колебалась она, — я не готова... у меня ничего не собрано. И такие предметы в этом семестре... Ну почему, почему ты ни разу не позвонил?!

«Вот и прорвалась обида». Он чувствовал, что здесь было и что-то другое, а не только его отсутствие. Что ж, как правило, отсутствующие всегда виноваты.

— Давай договоримся, — зашел он с другой стороны, — если не понравится, завтра же вечером привезу тебя обратно. — И, увидев, что дочь готова согласиться, поспешно добавил: — Жду тебя в машине. И не забудь паспорт: так, на всякий случай.

2

Ехали по Садовому кольцу в сторону Таганки. Болтников любил эти вечерние огни: наступало внутреннее успокоение, когда в такие часы видел он из окна своих «Жигулей» московские улицы.

Магазин «Агат» с дешевой рекламой неоновых букв. В нем Болтников когда-то покупал обручальные кольца. С годами прежние чувства к Вере настолько притупились, что закрадывалось сомнение: а любил ли он? Быть может, никогда не любил? Или не мог любить? В такие минуты он чувствовал себя одиноким, выброшенным на обочину жизни. Выброшенным. Но почему? Кто виноват? И так ли все это? Ведь любил же он Веру! Любил... Сказать так — значит наполовину солгать.

Вера тогда работала медсестрой в отделении, где лежала его мать. Знакомство шапочное. Но, как-то разговорившись, Борис пригласил Веру в театр. А потом они ездили в тихое местечко неподалеку от музея-усадьбы Поленова. И там он познакомил Веру с Краузе, с милым добрым Краузе, как часто называл Борис своего друга детства Глеба, молодого дипломированного врача, практиковавшего в то время в одной из сельских больниц.

...Погожее утро обещало теплую ясную погоду. До обеда и впрямь стояло ведро. Они втроем — Вера, Борис и Глеб. Редкий ельник с одинокими соснами. Ноги утопают в мягкой влажной хвое. Борис после недавней травмы еще заметно прихрамывает, осторожно переступая через разлапистые корневища, опирается на трость. В маленькой беседке на территории пансионата, куда его и Веру устроил на двое суток Краузе, Глеб читает стихи. Читает монотонно, словно молитву:

Есть благая обитель  
Во вселенной бездонной...  
Там мой ангел-хранитель  
Во вселенной бездонной...  
Связь евклидовых нитей —  
Между звезд Водолея —  
О мой ангел-хранитель!  
Преодолею  
Связь евклидовых нитей,  
Связь магических чисел...  
Лишь постигнув их тайну,  
Я войду в мирозданье,  
Лишь постигнув их тайну,  
Разум — Змей-искуситель —  
Разорвет мозга склеп мой...  
И свершится! Свершится!!  
Я услышу Гармонию —  
Музыку Неба!

— Красиво, но непонятно, — говорит Борис.  
— Нет-нет, все понятно, — почему-то волнуется Вера, — я все поняла, Глеб.  
— Что же ты поняла? — спрашивает Борис.

— Что?.. — Чуть сдвигаются в задумчивости brows. — Это стихи о любви. Он и она. Она и он. Их гармония... Быть может, я не знаю, как это выразить простыми словами, но я поняла. Все поняла. Ведь так, Глеб, ты говорил о любви?

— Возможно, — неопределённо отвечает Краузе. Беседка на краю высокого крутого обрыва. Там, в низине, Ока: хорошо просматриваются ее суглинистые, с песчаником берега, извилистая желтая лента пляжа. Лес на горизонте.

Глеб тащит их в музей Поленова. И много рассказывает, увлеченно, интересно, словно сам работает в музее.

— А хотите мед с пампушками трескать? — предлагает он. — Это здесь, не так уж далеко.

— Хотим, — соглашается Вера. — А ночью — к звездам Водолея!

— Но еще день, — с некоторым укором говорит Борис.

— Не удивляйся, — похлопывает его по плечу Глеб, — мы, медики, — в большинстве своем поэты. Не так ли, Вера?

— Действительно, — подхватывает она, — мне больше всего сейчас хочется плюхнуться в копну душистого сена и, раскинув руки, утонуть в ночном чистом небе, где звезды Водолея. Неужели никому из вас не хочется этого? Представьте, что сейчас тихая звездная ночь. Прозрачные легкие облака обволакивают луну, и она кажется матово-дымчатой...

— Амплификация, — обрывает ее Борис.

— Что? — не понимает она.

— Это он так, — сглаживает Глеб бестактность друга. — Дело в том, что в этот раз луна будет в созвездии Льва.

— Все равно... Важно, что она — матово-дымчатая. Ведь она такая, понимаешь, Глеб, такая. И всегда мне напоминает парное молоко. Ну представь: матово-дымчатая луна. Тихая ясная ночь. Неужели ты не чувствуешь запах парного молока? Неужели у тебя под ложечкой не сосет? Ведь так и хочется ее выпить. Правда, Глеб?

— Луну? — встречает Борис: ему кажется, что про него совсем забыли и он сейчас лишний.

— Да, луну, — отвечает она.

— Просто где-то ферма рядом, вот у тебя и ассоциация с парным молоком.

— Неправда. Скажи, Глеб, что это неправда.

— А завтра босиком по росяной траве, к утреннему горизонту, — не зная почему, продолжает язвить Борис.

— До завтра еще дожить надо, — роняет она небрежно и уже смотрит куда-то в сторону, мимо Бориса и Глеба...

3

— Папа, что с тобой?

Болтников вздрогнул. Оказывается, незаметно для себя он остановил машину на обочине автостра-

ды. «Хорошо, что не на проезжей части», — пронеслось в голове. И, включив двигатель, ответил:

— Задумался.

Некоторое время ехали молча.

Он испытывал на себе пристальный взгляд дочери, настороженно ожидая расспросов, чувствовал: сейчас было что-то не так. Почему с таким упорством Ирина отказалась ехать? Раньше такого не случалось. Взрослея, она все больше тянулась к нему, ей нравилось бывать с ним.

— Розы твои долго стояли, — с детским упреком сказала она. — Ведь ты мог позвонить... Мог!

Начиная с ее шестнадцатилетия Болтников в день рождения дочери, помимо подарка, дарил еще цветы — розы. Других не признавал. Каждый год прибавлял к букету один цветок. Этим мартом он подарил восемнадцать роз.

— Приедем — все объясню, — кратко ответил он, зная, что и там, на месте, куда они приедут, он будет как можно дольше тянуть с ответом, изворачиваться, лгать, так как не должен, не имеет права об этом ей говорить. Впервые в жизни он будет лгать Ирине. Впервые ли? — В деканат я сообщу, — напомнил он.

— Да простится дочери Болтникова, если она прогуляет пару недель. Хотя... вдруг придется завтра вернуться.

Кольнула-таки, усмехнулся он. И все же остался доволен: Ира носила его фамилию и теперь ненароком об этом напомнила.

Он нащупал в кармане пиджака ключи, оставленные Ириной в его почтовом ящике, и, сжимая их в кулаке, протянул дочери.

— Меняемся, не глядя.

Она шелкнула замочком косметички, что-то вынула и тоже протянула руку. Разжав пальцы, Болтников увидел недорогую женскую заколку в виде змейки.

— Ну спасибо, — улыбнулся он. — Но зачем мне это?

— Тебе лучше знать.

— Не понял.

— Я нашла ее в твоей квартире. Под трюмо. Мы с девочками у тебя как-то собирались. Так, музыку послушать и вообще... посидеть.

— Какие рассеянные у тебя девочки.

— Это не их, папа. Я спрашивала.

— Чья же?

И Болтников вдруг вспомнил: он часто давал Люции свои ключи; последний раз — с просьбой подобрать в его гардеробе кое-что из сменного белья и сезонной одежды. Кажется, такую заколку он видел у нее.

— Лишь поэтому ты мне вернула ключи?

— Нет, конечно. Я же не маленькая, понимаю, что у тебя может быть собственная личная жизнь.

Но каким тоном она это произнесла!

— Ты у меня просто шедевр, — усмехнулся он.

С окружной он свернул на эстакаду и погнал по скоростной.

— Ира, я хочу, чтобы ты мне верила, — нарушил затянувшееся молчание Болтников.

— Единожды солгавши... Кстати, у тебя это на почтовом ящике нацарапано, — опять кольнула она.

— Жаль. И все же... не бросай больше туда ключи.

— Боишься, что воры залезут?

— Запомни, — не обращая внимания на ее колкости, — как бы то ни было — в той квартире ты полноправная хозяйка. Случись что со мной, все останется тебе.

Никогда Болтников не уделял бытовым мелочам серьезного внимания — они были для него противостественны, раздражали, и, говоря сейчас дочери о подобных вещах, он испытывал обычную в таких случаях неловкость.

— Ты меня поняла? — спросил он.

— А ты что, умирать собрался?

На долю секунды Болтников потерял ориентацию. Резкий визг тормозов — и обоих кинуло по инерции вперед. Он тут же выжал сцепление, переключил передачу. Все это он проделал почти мгновенно. Ира даже не успела испугаться.

— Надо же! — выдохнул он. — Извини, что-то померещилось.

На всякий случай проверил «дворники»: начал накрапывать мелкий дождь.

— Мне ничего не нужно, Ира, — негромко начал он, — лишь знать, что у тебя все хорошо. Приходи с друзьями, слушайте музыку, делайте что хотите... Живи у меня. Сколько раз я тебе предлагал. Ты и сама была не против.

— Теперь против.

— Но разве что-то изменилось?

— Да.

— Не понимаю... Скажи, это связано только с моим отсутствием?

— Нет.

— Ты не хочешь говорить?

— Не хочу.

— Ладно, поговорим после, время еще будет.

Почти в самом конце пути ему сделалось дурно. «Неужели снова?» — встревожился он. Пришлось ненадолго остановиться. В ответе фар мчавшихся встречных автомобилей его лицо напоминало восковую маску. Во всяком случае, таким оно ему показалось в зеркале заднего вида.

— У тебя нехороший цвет лица, — заметила Ирина.

— Аристократический. Ты же сама когда-то говорила, — отшутился он.

Распахнув двери, не выключая двигатель, они несколько минут молча сидели в машине.

#### 4

Уже пятнадцать лет Вера замужем за другим. Уже пятнадцать. И, по всей видимости, счастлива. Почему же он, Болтников, не смог сохранить семью? В чем причина?

Вопросы, вопросы... Их можно задавать всю жизнь, одни и те же, но так ни на один из них и не ответить.

Почему, к примеру, Вера с ним всегда подчеркнута холодна? Из-за чего в день рождения дочери спровоцировала скандал? Неудовлетворенность? Чем? Или кем? А может, своей назойливостью Болтников дал для этого повод? Да, в последние два-три года он чаще стал встречаться с Ириной. Но навещать дочь, хотя бы изредка, он имеет полное право. Что же тогда?

«Босиком по росяной траве к утреннему горизонту», — вспомнил он. Зачем, ну зачем он тогда это сказал? Зачем? Кто его тянул за язык? Ах, Болтников, Болтников...

Они к тому времени и не целовались по настоящему, а он... он уже ревновал. К Глебу? Да нет. Все не так просто. Теперь это кажется абсурдным, нелепым, а тогда...

... — До утра еще дожить надо, — с каким-то убийственным безразличием повторила Вера, глядя куда-то в сторону, мимо Бориса и Глеба.

— Действительно, надо определяться, — вглядываясь в небо, произнес Глеб. — Вон тучи-то...

Погода незаметно закапризничала. Задожидло.

— Так что, идем мед с пампушками трескать? — снова напомнил Глеб. — Пожалуй, успеем до грозы.

Они шли мимо заросшего зеленью пруда. Борис до сих пор отчетливо помнит торчавшую у берега замшелую корягу, на конце которой, колеблясь от ветра и от первых крупных капель дождя, побрякивала консервная банка. Как все романтично казалось тогда: и пруд, и коряга, и даже уродливая консервная банка. Или, наоборот, прозаично?..

Уже на пустыре, возле дамбы, где начинались огороды, их настиг ливень. Дорогу расквасило окончательно. Стараясь держаться обочины, они царапали руки о разросшийся колючий малинник, застревали в смоквах репейника. Скользя по мокрой траве, проваливались в грязь.

Потом где-то гулко задребезжало, словно ударили чем-то тяжелым о пустую металлическую бочку. Послышался непродолжительный брех собак.

Некоторые избы топились; белый слабый дымок быстро таял в дождливом небе.

Как же отчетливо все это сейчас представлялось Болтникову. Точно в кинематографе: безлюдная улица; старый высокий вяз в несколько обхватов, к стволу которого прибита погнутая, поржавевшая табличка с расписанием рейсового автобуса.

Проселочная дорога уходит за поворот. Вдоль забора — почти у каждого двора — сложены поленицы. Испуганная хохлатка, перебежав грязные, наполненные дождевой водой выбоины, механически пружиня головой, пролезает под сложенными в штабель дровами и скрывается за штакетником. Через минуту слышится квохтанье, частые глухие хлопки, как будто выбивают пыль из половиков. Но, пронзительно кукарекнув, словно сигналив, из-за штакетника на миг показывается хозяйский петух.

Глеб зашел в ближний дом. Борис с верой остался под вязом.

— Ты мой ангел-хранитель, — коснувшись губами Вериной щеки, шепчет Борис.

Она поправляет свои мокрые волосы и почему-то тяжело вздыхает.

— Что с тобой? — спрашивает он. — Тебе плохо? Ты промокла и замерзла...

— Боренька... — произносит она; у нее дрожат губы.

Борис думает, что это от холода, и старается хоть как-то согреть Веру.

— Боренька, — повторяет она, — ну почему, почему ты такой? Почему ты меня совсем не понимаешь?!

— Ты скажи, скажи, я все пойму.

— Но это нельзя объяснить словами. Это надо чувствовать.

И вдруг ему кажется... нет, не кажется — она плачет. Действительно плачет.

— Ты плачешь?

— Нет-нет, с чего бы...

Он целует ее глаза, щеки, целует ее губы. Первый поцелуй в губы. И чувствует на своих губах солоноватый привкус.

— Ты плачешь, да? Я же вижу, плачешь.

— Нет, тебе кажется.

— А почему они соленые?

— Что?

— Губы.

— Не знаю. Просто дождь такой соленый. Стала бы я плакать.

— Ребята! — окликает их Глеб.

Рядом с ним высокий человек в габардиновом плаще, в накинута на голову капюшоне. В резиновых сапогах. Незнакомец глядит исподлобья, набычившись. Примерно такими в далеком детстве Борис себе представлял разбойников средневековья в романах Вальтера Скотта.

— Ты откуда его знаешь? — спросил Борис Глеба, когда поднимались по ступенькам крыльца.

— Это наш культмассовый сектор, — шутит Глеб. — А если серьезно, в больнице на приеме познакомились. Неплохой мужик. Егорычем зовут. Кстати, называй его просто Егорычем, по отчеству, а то обидится.

Духоту, серно-войлочный запах они почувствовали сразу, как только вошли. На стене — старое зеркало, заметно засиженное мухами. В углу — двухконфорочная газовая плита и два красных газовых баллона. Кухонный стол накрыт вылинявшей, с порезами ножа клеенкой в шашечку. Старинный диван с резной спинкой и валиками по бокам. Печь.

Егорыч скинул капюшон, и Борис увидел что-то вроде бельма: зрачок правого глаза сместился к самой переносице, почти скрывшись под нижним веком. Хозяин снял с себя плащ и сапоги, расстегнутая рубаха навывпуск открыла на груди сизоватую татуировку: штурвал с румбовыми знаками. На вид ему за шестьдесят. Крепок и моложав. Густые, с проседью волосы зачесаны строго назад. Лицо сухое, с недав-

ними заметными порезами после бритья, запахом дешевого одеколора. Егорыч прошел в комнату и вернулся с охапкой сухой, много раз стиранной одежды, неся штаны, свитер, рубашки, шерстяные носки.

Борис и Глеб скинули мокрую одежду. Вера передевалась за дверью, в сенцах. Вышла, поживаясь: жестковатая шерсть свитера покалывала еще влажное тело. Руками она поддерживала спадающие широкие штаны.

Откинув низ дивана к спинке, Егорыч достал толстую бечевку, дал Вере вместо ремня — подпоясаться. Зажег газ. Поставил на плиту чайник. Расстелил на голбце широкую холстину и аккуратно разложил на нее промокшую одежду — сушиться.

— Печь еще недавно топлена. Думаю, хватит жару. За газом-то в район ездим, — услышали его хрипчатый баритон. — Да нечего в прихожей толпиться, в горницу проходите.

Через узкие сенцы прошли в комнату. В ней мрачновато, но тепло, в самый раз. И не пахнет прокисшим. Егорыч шелкает выключателем, и под розовым абажуром вспыхивает лампа. Свет мягкий, успокаивающий и совсем не режет глаза.

Егорыч что-то рассказывает про абажур, что этот самый абажур привезла ему из города внучка, что абажуры снова вошли в моду.

Комната уютная, чистая. В ней еще одна печь — голландка. Везде прибрано. В углу над этажеркой скромный, в наличнике образок под рушником, но без лампадки. На стенах фотографии: не старые пожелтевшие снимки, как принято в деревнях, таких мало, а преимущественно недавние, современные. На одном из них сам Егорыч. Широкополая шляпа обшита темной защитной сеткой, которая спускается по самые плечи, но с лица сетка откинута, откинута так, что большой глаз незаметен. На лице легкая усмешка. В руке у него дымарь. Хорошая фотография. «Классическая», — подумал тогда Борис. Они смотрят снимок за снимком. Над кроватью в деревянной рамке портрет: кудрявый молодец с аккордеоном. На снимке он боком, и бельмо незаметно. Для Бориса и Веры все ново, интересно. Глеб притулился у окна, слушает, как под дождем шуршат листья.

Неожиданно окно осветил яркий сполох. И вдруг ударил гром. Даже стекла задрезались. Началась гроза. С ливневым ветром и крупой. Прогнулись, затрещали деревья. Громовые раскаты сотрясли избу гулом и частой дробью града по крыше. За окном образовалась бездна — водяная хмарь, за которой ничего не видно.

— Разверзлись хляби небесные, — смеется Глеб.

— Свят-свят, — доносится негромкий голос с другого конца комнаты. — Свят-свят...

Маленькая старая горбуня крестится на образок и посылает Борису, Глебу и Вере свое мелкое крестное знамение. Наверное, ее пугают слова Глеба. Молния и гром. Как китайский божок, она покачи-

вает морщинистой головкой, почти неслышно проходит по комнате и тихо говорит:

— Пророк Илья сердает, быть сильным грозам.

Вся в черном, лишь передник светлый и платочек в белый горошек. Она сильно горбится: то ли годы согнули ее, то ли с рожденья такая — с горбом. — Свят-свят...

... — Ты что-то сказал? — спрашивает Ирина.

Болтников рассеянно смотрит на дочь. Завеса воспоминаний еще удерживает его.

— Ты болен?

— Что? — Он все еще не в состоянии воспринимать реальность.

— Ты болен? — приглядывается к нему она.

— Нет. Пустяки, — приходит он в себя окончательно, — устал немного.

Он и правда утомленно зевает, рассеивая тем самым ее подозрения. Хотя, если признаться, он действительно изрядно устал. Особенно в последние дни, как покинул клинику.

— Ты очень жалеешь, что согласилась ехать?

— Я очень хочу спать.

Болтников захлопнул дверцу машины.

— В дороге всегда хочется спать. Скоро будем на месте. Выспишься.

## 5

Завтракали в общей столовой, за столиком возле окна, в углу просторной веранды.

Жиденький плюш во всю оконную стену, декоративная монстера в большом деревянном горшке. Ничто здесь не привлекало взгляд; во всем наблюдалась чопорность, и от всего отдавало привкусом застоявшейся казенщины, которая нагоняла скуку. Но как ни странно, Болтников находил здесь тот же уют и самоуспокоение, какие испытывал за рулем своего автомобиля.

Противоречие? В какой-то степени. Впрочем, вся его жизнь почему-то сплошь и рядом состояла из противоречий. Скажем, он легко сходил с людьми, но чем дольше длилось знакомство, тем сильнее он этим знакомством тяготился, убеждаясь в очередной раз в бесплодности, ненадобности связи, которая лишь отвлекала, мешала, как ему казалось, сосредоточиться на основном. И неотвратимо наступал разрыв.

Быть может, поэтому у него никогда не было друзей. Хотя... почему друзей? Почему во множественном числе? Чуть. Друзей никогда не может быть много. Это противоестественно. Если, конечно, понимать дружбу так, как понимал ее Болтников.

Но почему он вызывает у окружающих некую неприязнь? Чем? Может, просто своим невниманием к ним? Амбициозностью? Или это как-то связано с его внешностью: болезненная бледность, худоба и вообще... не эталон? К тому же природная неуравновешенность, вспыльчивость, обострившаяся в по-



следнее время, и вовсе усугубляли его отношения с людьми.

Только Глеба он считал своим другом. Тем единственным человеком, кого в хорошем кино определяют простой глубокомысленной фразой: «С таким бы пошел в разведку».

Болтников не знал, пошел бы Глеб «в разведку» с ним, но сам-то он с Глебом пошел бы. Он верил Глебу. Верил, как никому. Хотя себя не раз ловил на мысли, что сам подчас лукавит другу. Но поделаться с этим ничего уже не мог. Возможно, эту черту скрытности наложила на него многолетняя работа в институте, где частые интриги были обычным явлением. А Глеб... он словно жил в другом измерении, в другой среде обитания.

Когда Болтников приезжал в пансионат, всегда чувствовал эту его «среду обитания», мягкую, доброжелательную атмосферу, где отдыхал, что называется, душой и телом.

Вот уже много лет Краузе работал главврачом здешнего пансионата. И когда бы Болтников ни приезжал, тот всегда помогал ему с устройством. Глеб и сейчас все устроил так, чтобы они с Ириной без всяких осложнений и хлопот могли отдохнуть неделю-другую.

Ира скучающе разглядывала публику, даже не стала затевать с ним обычную в таких случаях игру, хотя заметила, что на них поглядывают, «бьют прицельным огнем из замочной скважины».

Болтников же пытался понять, почему все-таки дочь так изменилась к нему? Не в дурацкой же шпильке все дело! Ведь они всегда понимали друг друга, доверяли. Теперь же — он это остро чувствовал — нарушилась какая-то связь. Даже больше: он уловил в интонации дочери некую брезгливость, неуважение. И уже казалось ему, что поехала она вовсе не из искреннего желания побыть с ним, а с какой-то иной целью.

Он обдумывал, с чего бы начать разговор, какие слова приведут к взаимопониманию. Но в словах ли дело?! Единожды солгавший...

А разве не существует святой лжи ради блага ближнего? Ирина просто обязана его понять. Иначе... иначе и быть не должно.

Она безучастно глядела куда-то в сторону. Он посмотрел в направлении ее взгляда — и увидел Люцию. Она сидела за несколько столиков от них. Люция... Правильно — Люся, но в узком актерском мире ее все звали Люция. Даже Болтников постепенно привык к такому броскому, он считал, «бомондскому» имени.

Ее появление Борис Андреевич никак не ожидал. «Вот так Глеб, действительно обставил-таки сервис». Лишь Краузе мог устроить Люцию в пансионат. И именно в его отсутствие, когда он ездил за Ириной.

— Мне кажется, я где-то ее уже видела.

— Ты о ком? — с притворным любопытством поинтересовался он. Однако встревожился.

Он не знал, чем объяснить, но почему-то всегда стремился скрыть свою связь с Люцией от дочери. Ира, конечно, видела ее в театре — он сам приглашал дочь на каждую премьеру, но сейчас она едва ли могла связать эту «случайность» с ним.

— Вот там... в сером джемпере под летучую мышь. — Ирина все-таки что-то почувствовала.

Вопреки здравому смыслу Болтников теперь зачем-то начал старательно разглядывать Люцию. А она с излишней беспечностью, бегло, как бы невзначай взглянула на него.

На секунду он уловил ее взгляд — чуть робкий и о чем-то спрашивающий.

«Предупредить ее сыграть какую-нибудь роль? — напряженно размышлял он. — Но как? И что это даст? Но в любом случае надо уговорить ее уехать».

— Это же неприлично, папа... так смотреть, — заметила Ира, потупясь в тарелку. И добавила: — Ты, кажется, обещал, что мы будем вдвоем.

Столовая заметно пустела. Люция сидела так, что он мог видеть только ее профиль и часть свитера — большой глубокий отворот, сползающий на грудь.

Борис Андреевич намеренно не торопился, надеясь, что Люция догадается выйти первой. Но чем-то отвлекся, не уследил, как она подошла к их столику. Точно под гипнозом, разглядывал колье на груди Люции. Колье с голубовато-зеленым аквамавром. Такое же он подарил дочери прошлой зимой, перед Новым годом. Колье и розы. Таких колье он купил тогда два. Купил в Столешниковом переулке. Тут же припомнилась и заколка.

— Ты повторяешься, папа, а это неоригинально, — резанул голос Ирины.

Не скрывая на лице усмешки (странно, Болтников впервые с каким-то потаенным ужасом обнаружил в этой усмешке дочери сходство с Верой), Ира, сославшись на плохое самочувствие, ушла.

О каком взаимопонимании сейчас может идти речь, снова и снова спрашивал он себя, если дочь ему не верит? Мало того — презирает, подозревает в чем-то безнравственном, неблаговидном.

Какая же немислимая пропасть образовалась между ними за эти несколько месяцев!

## 6

— Как ты меня нашла? — словно допрашивал Болтников Люцию.

— Ты со мной разговариваешь, будто я преступница.

— Что вы меня все опекаете! Или в самом деле мои дела дрянь?

— Во всяком случае, тебе необходимо еще некоторое время оставаться в клинике. А ты просто удрал.

— Тебя твои асклепии просветили?

Все больше раздражаясь, он надкусил заусеницу. Даже в руках ощущалась нервозность. Весь он стал каким-то дерганым. Откинувшись на спинку стула, постарался успокоиться, но, сунув руку в карман

пиджака и обнаружив там заколку, небрежно бросил ее на стол.

— А я ее везде обыскалась, — чуть виновато улыбнулась Люция.

— Благодарю мою дочь, — хмыкнул Борис Андреевич. И вновь вспышка негодования: — Кто тебя просил сюда приезжать?! И зачем вот это? — притронулся он к колье.

— Я хотела... Я думала, тебе будет приятно...

— «Думала»...

И, как накануне вечером, его охватил очередной приступ слабости: тошнотворная, с кисловатым привкусом слюна быстро скапливалась во рту. Он сильно сжал челюсти, скрипнув зубами и слотнув, промокнул носовым платком выступивший на лбу холодный пот.

Приступ заметно ослабевал.

— Ах Глеб, Глеб... — наконец смог произнести он. — Альтруист, мать его...

— Глеб тут ни при чем.

— Ты, случаем, морковный сок не привезла? — съязвил Болтников.

— Все правильно... по заслугам. Спасибо. Просто я, я... дура. Так мне и надо. — Она готова была заплакать.

— Вот и договорились. Сегодня же ты уедешь.

Он встал, но тут же ощутил, как предательски задрожали колени. Черт! Он не сможет сделать и десяти шагов, он не рассчитал свои силы. Этого только не хватало.

Болтников сел на прежнее место.

Почему он сейчас оскорбляет, мучает эту женщину? Он — недостойный даже ее мизинца! Почему? И вправе ли Ирина требовать от него так много? Но разве она что-то требует? Нет. Просто он сам — обыкновенное дерьмо, сущность которого запрятана в серую тройку модного покроя французской фирмы. Вот так.

— Прости, погорячился. Чепуха какая-то...

— Я все понимаю, Боря. — Что-то вроде улыбки вышло у Люции.

— Как твои спектакли?

— Два-три дня обойдутся без меня, не такая уж я незаменимая. И пожалуйста, не прогоняй меня.

Болтников не ответил.

— Неужели ты ничего не понимаешь? Сейчас я должна быть здесь, с тобой.

— За упокой раба Божьего Бориса...

— Не говори так, прошу тебя.

— А что там наш Гамлет? — перевел он разговор на другую тему.

Странно, он никогда и никому не давал прозвищ, но Шеховцову, человеку, которого относил к категории научных дармоедов или, если употребить более точный термин — к категории синекур, прозвище это подходило более чем кстати. То есть если б Болтников — о чудо! — переквалифицировался в великого Шекспира, то непременно написал бы своего «Гамлета». Но Гамлета наоборот, некую из-

нанку этого героя — в облике современного человека, каким был сотрудник одного из его отделов, в недавнем прошлом его аспирант, а теперь кандидат наук Игорь Шеховцов. Самое же удивительное, что прозвище Гамлет Шеховцову очень даже подходило. Болтников сам толком не мог объяснить почему. Почему именно Шеховцова он удостоил этим прозвищем? Более того, оно прижилось в институте. И сам носитель этого легендарного имени, поначалу немного оскорбленный, со временем привык к своему прозвищу. И, как казалось Болтникову, старался чуть ли не оправдать — своим, естественно, поведением и обликом — этот благородный шекспировский образ.

— Так как он там? — переспросил, заметив, что Люция не очень расположена отвечать.

— Знал бы ты, как он мне надоел, — с гримасой брезгливости вздохнула она. — Бог ты мой! Как он мне надоел! Он просто экзальтированный дурак. Он даже убить способен. А тебя с удовольствием вызвал бы на дуэль.

— Еще не успокоился, — помрачнел Болтников, вспомнив о последнем споре с Шеховцовым. — Правда, он не такой дурак, как кажется. Но я не против сатисфакции.

Бесспорно, Болтников чувствовал перед Шеховцовым вину: отвесной скалой стоял он на пути к его пассивности, а тот, с неопытностью начинающего альпиниста, всякий раз стремясь взобраться на эту отвесную скалу, на первых же подступах срывался, набивая синяки и шишки.

Шеховцов сам познакомил Болтникова с Люцией на банкете, не ожидая, что сразу станет третьим лишним. Сначала Гамлет пригрозил подпортить шефу «портрет», потом — карьеру. Смелые, конечно, решения. Но трюк с «портретом» не вышел: очень уж тривиален. Да и опасно все-таки: надавать по мордам патрону, от которого зависит твоя же диссертация. И с карьерой опять-таки не вышло: надо быть последним идиотом — покушаться на научный авторитет Болтникова. Так что у Шеховцова хватило ума не распространять о нем сплетни.

Что это — трусость? Раздутое благородство? Нет, думал Борис Андреевич, трезвый, обдуманно рассчитав. Слабоват пока что Гамлет и как претендент на перспективную вакантную должность завотделом. Слабоват, потому и помалкивает до времени.

Впрочем, все нападки Шеховцова можно было понять. Хотя Болтников никогда не обнадеживал Люцию. Брось она его теперь, променяй на Шеховцова или кого-то еще, ему было бы больно, очень больно, но он принял бы это как неизбежное, ибо Шеховцов был его невольной жертвой по причине обычного эгоизма.

«Что ж, ты уж потерпи, братец, потерпи, — размышлял про себя Борис Андреевич, — когда-нибудь уступлю место. Как в сказке: и развернется скала, и не надо будет взбираться на самую верхотуру — так пройдешь. Только не оплошай тогда, гляди под ноги,

в оба гляди; самомнение-то — оно ведь давит. Ой как давит! С непривычки и оступиться немудрено».

Возможно, своей нахрапистостью, необузданностью Шеховцов в конце концов добьется Люции. Да и кое в чем другом преуспеет: докторскую напишет, должность получит выгодную. А там, глядишь, и ой-ой-ой... Но это после Болтникова. А то как-то нехорошо... *non est discipulus super magistrum*<sup>1</sup>, сказал бы Краузе. Слишком уж рановато Шеховцов Бориса Андреевича в утиль списывает. Рановато.

И все же Борис Андреевич предпочитал не вдаваться в некоторые детали. Гамлет хотел диссертацию — так он ее получил. Они сделали джентльменский обмен.

Шеховцов, пожалуй, неплохо начинает: в двадцать восемь лет защитить кандидатскую — куда ни шло, но статью завлабом в их институте — заявка на биографию. Выше ему, конечно, не потянуть, интеллектом скудноват; пусть довольствуется тем, что есть.

7

Оставив Люцию, Болтников поднялся к дочери.

— Ты действительно больна?

— Да, голова что-то болит. — Открыв ему дверь, она плюхнулась на кровать.

— Ты говоришь правду?

— Слишком много впечатлений за такой короткий срок. Переутомилась. — Обхватив подушку, она отвернулась к стене.

Ревнует, догадался он. Впрочем, здесь и догадываться не надо. У Ирины все на лице написано.

Он шел к корпусу, где работал Глеб. Но дверь его кабинета оказалась запертой. Совсем выпало из памяти, что сегодня, в субботу, они договорились встретиться дома у Краузе. Он сел в кресло здесь же, в вестибюле. И вздохнул с облегчением: шел с намерением наговорить другу уйму дерзостей, но теперь поостыл и был доволен, что не застал его на рабочем месте.

Болтников понимал: самому нормализовать отношения с дочерью — займет слишком много времени на разного рода выяснения. Необходим какой-нибудь неожиданный, исключительный блинчок. И без Глеба ему не обойтись. В сущности, хоть и косвенно, Глеб виновен в данном его разладе с Ириной. Пусть и поможет выкрутиться. У него это всегда неплохо получалось.

Кирпичный, с деревянной антресолюю особнячок Краузе был рядом с тем домом, где когда-то жил Ефим Егорович со своей матерью — «бабой Капой», как потом называл ее Болтников.

Давно уже не было ни смиренной, тихой бабы Капы, ни Ефима Егоровича. Только высокий, могучий вяз, на который всегда ориентировался Болтников, когда приезжал к Глебу, еще возвышался своей величественной, разлапистой кроной.

Борис Андреевич не раз задавался вопросом: почему его друг так и не соблазнился работой в престижной столичной клинике, куда, как он слышал, его приглашали, а остался в глухомани? Вернее, уехал через некоторое время после их свадьбы с Верой. Что потянуло его обратно? Спрашивать же об этом самого Глеба Болтников почему-то не хотел. К тому же подобные решения, как казалось Борису Андреевичу, были в характере Глеба. Да и своих проблем хватало. Зато раз или два в год Болтников мог вырваться из города и приехать в Тарусу. Пару раз приезжал с Верой. Но это было еще до рождения Ирины.

По случаю выходного Глеб занимался пчелами: еще издала, сквозь сетчатую металлическую решетку изгороди Болтников увидел его полусогнутую над ульем спину. Перед наступлением холодов Глеб тот десяток ульев, которые, быть может, сохранились еще от Ефима Егоровича, всегда переносил в специально отстроенный зимовник. Подчас Болтников поражался: как у Глеба на все хватало времени и сил! Ведь жил Краузе один, без хозяйки. Правда, в его доме часто можно было встретить кого-нибудь из близких, друзей, сослуживцев. И все же, думал Болтников, взвалить на себя хозяйство — дом, огород, пчел и т. д. — плюс работа — он бы, то есть сам Борис Андреевич, не потянул. Хотя энергии и работоспособности ему не занимать.

— Почему один? Мы же договорились, — вопросом встретил его Краузе, вытирая о штанину ладонь.

Это был физически крепкий человек с крупной головой и открытым, располагающим к себе лицом; смуглый, с густыми, но от природы, что ли, белыми волосами и невероятно выпуклыми, крутыми надбровьями. За тридцать с лишним лет их знакомства Болтникову казалось — Глеб не то чтобы постарел, а сделался каким-то монументальным. Из некогда стройного худощавого юноши он превратился в дородного, с большим брюшком барина.

— Так почему без Ирины? — повторил свой вопрос Краузе.

— Я к тебе не в гости пришел — ругаться, — сдержанно ответил Болтников.

— Ругаться? — искренне удивился Глеб. — Ну.. тогда подожди.

— Да, но я не могу ждать...

— *Festina lente*, Борис, — перебил его Краузе. — Еще Октавиан Август говорил: торопись не спеша. И не забывай: *portatur leviter, quod portat quisque libenter*<sup>2</sup>. Через пять минут освобожусь.

Глеб приподнял улей, поставил его на низкую, стоящую тут же рядом тележку и не торопясь покадил к зимовнику.

Ирину Борис Андреевич привез в Тарусу впервые. Ни Краузе, ни дочь раньше не встречались. Хотя заочно были знакомы. То есть по фотографиям и рассказам самого Болтникова. И если Краузе при случайной встрече смог бы узнать Ирину, которая

<sup>1</sup> Не бывает ученик выше учителя своего (*лат.*).

<sup>2</sup> Слаще потеть за работой, что начал своею охотой (*лат.*).

все-таки была похожа на Веру, то дочь, пожалуй, не узнала бы Глеба. Такие примерно мысли одолевали Болтникова, пока он поджидал друга.

— Ну а теперь начинай, — подошел к нему Глеб.

— Начинать? Что? — не понял от неожиданноности он.

— Ругаться.

— Хм, — хмыкнул Болтников. — Ловко у тебя получается... Ну ладно. А ты не догадываешься — почему? Я же тебя просил, чтобы ты сделал только два места. Для меня и Ирины.

— Я так и сделал.

— А как понимать присутствие Люции?

— Перестань, — отмахнулся Краузе. — Люся остановилась у меня, а в столовой я ей просто сделал столик. Ты же сам отказался жить здесь.

— Но у меня были совсем иные планы.

— Ты напрасно сердись. Вообще-то ругаться должен я. Если б я знал о твоём побеге, то в смиренной рубашке отправил бы тебя назад.

— Что, мои дела и в самом деле так плохи?

— Не паникуй. Я звонил в Москву...

— Что же тебе сказали?

— У тебя неважные анализы. То есть не то чтобы очень, но...

— Что — «но»? Говори.

— *Privato presupponit habitum*, — скороговоркой произнес Глеб, — другими словами — лишение уже предполагает обладание. А что я могу еще сказать! Я знаю чуть больше, чем ты.

— «Чуть больше»! И в чем же это «чуть» заключается? И давай без ёрничанья.

— Если на то пошло, из твоего анамнеза я могу сделать заключение, что лучше бы тебе довести курс лечения до конца. А Ира могла бы навещать тебя в больнице.

— Но я не хочу, понимаешь — не хочу, чтобы она меня видела в больничной пижаме! — вспыхнул Болтников.

— Не кричи, — предостерег его Краузе, — тебе нельзя сильно волноваться.

На днях он действительно звонил в московскую клинику, где Болтников проходил курс лечения. Подключив все старые связи, знакомства, Краузе все-таки убедил лечащего врача ознакомить его с историей болезни Бориса Андреевича. Болтников был опасно болен. Даже Люция, наверное, до конца не признавала, насколько это серьезно. Ира, как теперь понял Краузе, даже не подозревала о болезни отца.

— Значит, кроме своей латыни, ты больше ничего сказать не хочешь? — с холодным недоверием спросил Болтников.

— Все, что можно, я уже тебе сказал.

— Ты мне еще ничего не сказал. И при чем здесь смиренная рубашка?

— Что ты ко мне пристал? — сухо, чуть повысив тон, ответил Глеб. — Я всем так говорю, кто уклоняется от лечения. И все, допрос окончен! — уже категорически заявил он. Обстучал о цементный бордюр

налипшую землю с сапог. — И вообще, ты мне давал слово, что через неделю вернешься в клинику.

— Ладно, не говори, — смирился Болтников, — мне самому об этом противно думать. С Ириной у меня полный разлад.

Болтников вкратце рассказал.

— Думаю, это поправимо, — успокоил его Краузе, направляясь к дому. — Ирину я беру на себя.

В просторной светлой гостиной с камином из красного кирпича, облицованным специальной керамической плиткой, Болтников утонул в глубоком мягком кресле, взял с журнального столика первый попавшийся журнал.

— Все-таки не понимаю, — сказал Краузе, протягивая ему чашку кофе, — давно бы женился, что ли. Еще древние говорили: *natura abhorreret vacuum* — природа не терпит пустоты. Все было бы гораздо проще. Мне кажется, Люся бы тебя не обременила.

— Вот именно «кажется»! — встрепнулся Болтников. — Нам всем часто что-то кажется. Удивительно это слышать от тебя. О какой женитьбе может идти речь! Оставь свою инонию для больных бронхитом.

— А я бы не задумываясь на ней женился, — проговорил Краузе. — Смотри, уведу.

— Я и гляжу — старый бабник...

— Не я, так другой. Ты все в академики рвешься, к вершинам... Смотри, как бы снова локти кусать не пришлось. Я провидец, Борис. Затащит ее в загс какая-нибудь положительная посредственность respectableй выкройки, а ты будешь свою науку лобызать и до старости пельмени варить.

— Так это ж я и есть — respectableй выкройки. Поэтому и не женюсь. Но ты, Глеб, как мне думается, нарушаешь правила игры.

— Не понял.

— Как ни странно, но я имею некоторую склонность к анализу. Видишь ли, один лейпцигский профессор, пользуясь изречениями Агафона, призывал врачей не обещать слишком много, но и не приводить в ужас своими диагнозами: говорить всегда в условной форме, как полчаса назад продемонстрировал ты. Но ты же и подсыпашь чанду в нашу с тобой общую трубку.

— Чанда, чанда... — Краузе почесал затылок. — Другими словами, опиум.

— Во всяком случае, это запрещенный прием. Не увлекайся. Сейчас курю я, но не исключено, что и тебе придется выкурить из общей трубки.

— Ты, Борис, иногда говоришь загадками. Но оставим этот разговор. Так, значит, у тебя с Ириной осложнились отношения.

— Я и сам не ожидал. — Болтников допил кофе, задумчиво посмотрел в пустую чашку. — Я и сам не ожидал, — повторил он, — что у Ирины будет такая реакция. Можно еще кофе?

— Придется варить, — ответил Глеб.

— Тогда не надо, — отказался Болтников, доставая сигареты.

Краузе тоже сидел задумавшись.

— Кстати, почему я не вижу Люции? — спросил Борис Андреевич.

— Сегодня экскурсия. На катере. На могилу Пастовского и прочее. Разве ты не знаешь?

Болтников вспомнил: действительно во время завтрака объявляли о какой-то экскурсии по Оке.

— Так как же мне быть с Ириной? Она упряма. Ее трудно бывает в чем-то переубедить.

— Что-нибудь придумаем.

— «Что-нибудь»... — усмехнулся Болтников.

— Ну, предположим... Скажу, что Люся — моя возлюбленная, — полушутя сказал Краузе.

— Да, это было бы оригинально. А ничего другого в запасе нет?

— Тогда побольше экспромта, что-нибудь необычное. И вообще — что твоя дочь любит, чем интересуется?

— Французской поэзией. Но, думаю, ей сейчас не до поэзии.

— А как она относится к сюрпризам? Она любит сюрпризы?

— Какие еще сюрпризы? — насторожился Болтников.

— Сладкие, — улыбнулся Глеб. — Многие девушки любят сладкие сюрпризы.

— Что ты задумал?

— Так, исхожу из обратного: делать побольше несуразностей — это помогает снимать напряжение.

Краузе встал с кресла и прошел на кухню. Вернулся с полиэтиленовой сумкой:

— Подожди немного, я скоро.

Ждать пришлось недолго. В полиэтиленовой сумке Глеб принес плоский квадратный предмет, аккуратно упакованный, напоминающий коробку асортис.

— Конфеты? — поинтересовался Болтников. — Они-то зачем?

— После узнаешь, — только и сказал Краузе.

Они шли по главной аллее, ведущей к пансионату.

— Вот что, Глеб, я решил, что сам должен говорить с Ириной.

— У тебя не получится, — резонно заметил тот, — ты все испортишь.

— А у тебя с твоими фантазиями?..

— У меня — да. Если ты хочешь знать — меня очень любят молоденькие девушки. В студенческие годы я всегда был душой компании. Ты же об этом сам говорил.

— Это они тебя сейчас любят, — поддел его Болтников, — потому что ты им не очень опасен. Тем более с таким животом.

— Оскорбляешь, — наигранно обиделся Краузе, — я еще ого-го-о-о... Но если честно, не хочу быть посмешищем, как большинство самодовольных подслеповатых бри-бри, делающих вид, что им огромное удовольствие доставляют такие бытовые мелочи, как мытье посуды или надраиванье паркета. Шить на швейной машинке «Зингер» своей каприз-

ной эпуге, верить в ее честность, между тем как она ловко изменяет, покуривает анашу, и потом слышать от нее же: «Болван». Нет, уволь.

В вестибюле Глеб взглянул на часы:

— Обещаю тебе вернуть дочь в хорошем расположении духа. А до тех пор, пока большая стрелка не будет вот здесь, — ткнул пальцем в циферблат, — просьба не входить.

— Ты хоть знаешь, в какой она комнате?

— А по-твоему, я не ведаю, где вас поместил?

## 8

Болтников смотрел, как, не торопясь, поднимается по ступенькам Глеб. Видел грузную его фигуру, легкую, уверенную походку. Вот он замешкался, наверное поправляет ворот плаща, приглаживает волосы и достает коробку конфет. Вот он опять пошагал, Глеб-благочестивый, душа компании, болтун, незлобивый насмешник и большой умница.

Но сейчас Болтникова взволновало совсем другое: Глеб, не подозревая, пробудил в нем давние тяжелые воспоминания. Бывали минуты, страшные минуты тоски, когда он хватался руками за голову и, точно в клетке, метался по своей квартире. О, с каким удовольствием он согласился бы мыть посуду, драить полы, даже научился б шить на швейной машинке! С каким превеликим удовольствием он бы продельвал все это, вернись тогда к нему Вера!

За годы одиночества он мог бы создать семью. Мог бы, но не стал, каким-то чутьем понимая, что никто и никогда не заменит ему первой. В такие минуты он соглашался на все: казалось, бросил бы науку, уехал бы на край света, лишь бы рядом была Вера. Вера и дочь.

Господи! Как же он хотел их тогда вернуть!

После защиты диплома Болтникову сразу же предложили остаться на кафедре. Сбывалась его мечта: он мог серьезно заниматься наукой. Через год он уже поступил в аспирантуру. А через три года защитил диссертацию. Да, сбывалась мечта. Но еще раньше, до защиты, маму первый раз положили в больницу, в гинекологическое отделение, на обследование. Именно в ту больницу, где тогда работала Вера.

Через месяц маме сделали операцию. Борису запомнилось, как ее везли на каталке из операционной: матовое лицо, вялые, уложенные вдоль тела руки, спеченные, бледные губы; салатные стены коридора и свежая побелка потолков.

Позже советовали везти ее в Балашиху, чтобы продолжить курс лечения. «Знаешь, Боря, я решила никуда не ехать», — как-то равнодушно сказала она в одно из его посещений. Равнодушно. Или обреченно?

Борис не мог тогда разобраться в себе, понять — так ли чутко, по-сыновнему он относится к матери, к ее тяжелому положению. Да может ли она умереть?! Он старался не думать об этом. Это же мать. Она есть. Ее можно обнять. С ней можно говорить.